

А.К. ГЛАДЫШЕВ
(г. Пермь, Россия)

УДК 821.161.1.3 (Толстой Л.Н.)
ББК Ш33(2Рос=Рус)-8,43

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МОТИВА СМЕРТИ В ПОВЕСТИ Л.Н. ТОЛСТОГО «СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА»

Аннотация. В статье представлен анализ мотива смерти в повести «Смерть Ивана Ильича» в связи с формированием новых религиозно-христианских убеждений Л.Н. Толстого. Проводится параллель между религиозно-философским трактатом Л.Н. Толстого «В чем моя вера» и данным произведением.

Ключевые слова: смерть, жизнь, христианство, суд, прозрение

Вопрос философского порядка о смысле жизни и о смысле смерти, всегда волновавший Толстого, является центральным и лейтмотивом проходит сквозь все художественное творчество писателя. Так или иначе, эта тема затрагивается во всех ключевых произведениях автора («Детство», «Война и мир», «Анна Каренина», «Смерть Ивана Ильича» и др.). По справедливому замечанию многих исследователей (А. Зверев, В. Туниманов, С. Меситова), писатель стремился найти позитивный ответ на этот важнейший для него вопрос.

Эволюция данного мотива, привнесение в него новых смыслов обусловлены изменениями мировоззренческих позиций автора. Если в ранних произведениях, по мнению таких исследователей, как В. Шкловский, А. Зверев, В. Туниманов, П. Басинский, ощущается «языческое мирозерцание» автора, то в более поздних произведениях находят отражение его философские и религиозные поиски.

Так, в раннем рассказе «Три смерти» (1858), который можно рассматривать как первую серьезную попытку художественной рефлексии на тему отношения человека к смерти, Толстой приходит к абсолютно языческой формуле: преодоление страха перед пугающей неизбежностью смерти возможно только через соединение с природой. Другими словами, необходимо уподобиться дереву, смерть которого естественна и гармонична. К такой естественности и бессознательной покорности и должен стремиться человек. Именно так умирает в рассказе старичок-крестьянин: он терпеливо переносит физические страдания и внутренне готов «опростать занимаемый угол».

В повести «Смерть Ивана Ильича», написанной спустя 28 лет, находят свое выражение новые религиозные убеждения Толстого, ко-

торые подробно изложены им в трактатах 80-х годов: «В чем моя вера», «Царствие Божие внутри вас».

В 1881 году Толстой начинает повесть, в первой редакции получившую название «Смерть судьи». Однако посвятивший себя в это время главным образом большим публицистическим произведениям, Толстой обращается к повести лишь время от времени, урывками.

Критика устоев современного общества, новое мировоззрение писателя были обстоятельно и последовательно переданы на страницах трактата «В чем моя вера?». Концентрированно, в ярких живых образах, стараясь удалить всякий оттенок прямой назидательности, Толстой воплотит эти мысли в повести «Смерть Ивана Ильича», работа над которой продолжалась несколько лет и была закончена в 1886 году.

Рассуждая о характере связи публицистических и художественных сочинений Толстого, В.А. Туниманов замечает, что художественная работа хоть и не являлась доминирующей для автора в 80-е годы, «ее необходимо было теснее согласовать с новыми убеждениями, с новым религиозным мирозерцанием», но согласовать не формально, «ибо это убило бы художественность, превратило художественные тексты в ряд картинок-иллюстраций», а органично. По мнению исследователя, повести и рассказы «не противоречат и не противостоят трактатам и статьям», так как все сочинения – «это все разные грани одного и цельного организма» [Зверев, Туниманов 2007: 413].

Предельно четко обозначив в трактате негативное отношение к сложившейся системе судопроизводства, Толстой не так категоричен в повести. Дух отрицания проступает исподволь и ощущается в авторской иронии.

После первого прочтения повести может показаться, что Толстой не изобразил ничего другого, кроме обычной истории жизни и вполне естественной смерти одного человека из судебных чиновников, однако содержание ее прочно увязано с новым христианским жизнепониманием Толстого. Мысль, выраженная не как тезис со многими страницами последовательного доказательства, а как убедительно и просто рассказанная история жизни, страданий и смерти человека, история, в обыденности которой просвечивает универсальность, общечеловечность, - быть может поражает сильнее, чем логически выстроенная система доводов. Несмотря на то, что в момент выхода повести в печать она практически была не замечена русской критикой, успех ее в Европе, и особенно во Франции, был феноменальным. В последующие годы повесть также очень высоко была оценена и в России.

В трактате «В чем моя вера?» [Толстой: т. 23, 304–465] Толстой, методически разбирая «все то, что скрывает от людей истину», пере-

вода, сличая и соединяя четыре Евангелия, формулирует свое новое, основывающееся на учении Христа, миропонимание. Определив высказывание Христа: «Вам сказано: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противьтесь злу» (Ев. от Матфея, глава V, стих 39) как ключевое для понимания сути его учения, Толстой делает следующий вывод: общество, назвавшее себя православным и на словах исповедующее христианское вероучение, не только на деле не исполняет заветов Христа, но заботится об учреждении «судов, государства, воинства» [курсив здесь и в других местах Гладышева А.К.], об учреждении «жизни, противной учению Христа». По мнению Толстого, Христос, давший людям заповедь: «Не судите, и не будете судимы – не осуждайте, и не будете осуждены» (Ев. от Луки, VI, 37), не только не мог иметь в виду одну частную жизнь, но прямо указывал на то, что учрежденные людьми суды недопустимы.

«Христос говорит: *не противиться злему*, – пишет Толстой. – Цель судов – противиться злему. Христос предписывает: *делать добро за зло*. Суды воздают злом за зло. Христос говорит: *не разбирать добрых и злых*. Суды только то и делают, что этот разбор. Христос говорит: *прощать всем. Прощать не раз, не семь раз, а без конца. Любить врагов. Делать добро ненавидящим*. Суды не прощают, а наказывают, делают не добро, а зло тем, которых они называют врагами общества... Христос со дня рождения и до смерти сталкивался с судами Ирода, синедриона и первосвященников. И действительно, вижу, что Христос много раз прямо говорит про суды как про зло. Ученикам он говорит, что их будут судить, и говорит, как им держаться на суде. Про себя говорил, что его засудят, и сам показывает, как надо относиться к суду человеческому. Стало быть, Христос думал о тех судах человеческих, которые должны были засудить его и его учеников, и засуждавшие и засуждающие миллионы людей. Христос видел это зло и прямо указывал на него. При исполнении приговора суда над блудницей он прямо отрицает суд и показывает, что человеку нельзя судить, потому что он сам виноватый. И эту же самую мысль он высказывает несколько раз, говоря, что засоренным глазом нельзя видеть сора в глазу другого, что слепой не может видеть слепого. Объясняет даже то, что происходит от такого заблуждения. Ученик станет такой же, как учитель» [Толстой т. 23: 320].

Внимательно разбирая послания апостолов, Толстой заостряет внимание читателей на словах апостола Иакова: *Ибо кто сохранит весь закон и в одном чем-нибудь согрешит, тот становится виновен во всем. Ибо тот же, кто сказал: не прелюбодействуй, сказал: не убей. Почему, если ты не сделаешь прелюбодеяния, но убьешь, то ты*

все преступник закона (гл. II, 1–13). Из слов апостола, по мнению Толстого, следует, что суд человеческий «несомненно дурен» и «сам преступен», потому как за преступление сам казнит, но «суд сам собою уничтожается законом Бога – милосердием» [Толстой т. 23: 323].

Мысль, прозвучавшая как приговор для Ивана Ильича («Вот он, суд! Да я же не виноват! За что?»), мысль эта о Суде Высшем содержится в приведенном в трактате отрывке из послания апостола Петра: «Неужели думаешь ты, человек, избежать суда Божия, осуждая делающих таковые дела и (сам) делая то же?» [Толстой т. 23: 324]. История смерти Ивана Ильича приобретает притчевый характер. Человек, взявший на себя право казнить других за нарушение человеческих законов, сам преступает закон высший и подлежит Суду Высшему.

«Доминирующий образ у Толстого, – отмечает Н.А. Петрова, – образ суда, того, где служит герой; суда-консилиума, от которого “то капля надежды блеснет, то взбуршется море отчаяния”; суда над собственной жизнью» [Петрова 2007: 9]. Понимая учение Христа как определение вечных предначертанных законов, Толстой заключает, что русское общество, исповедующее христианскую веру, не только не исполняет предписаний этого вероучения, но и живет прямо противоположно духу учения, учреждая «земский суд, уголовную палату, окружные и мировые суды».

Прямая связь повести с трактатом ощущается с первых страниц: действие начинается в большом здании судебных учреждений, а главный герой произведения, Иван Ильич Головин, – член Судебной палаты. Тем не менее, Толстой избегает «лобовой» критики. Воспроизводя историю жизни Ивана Ильича, автор, отстранившись, избегает осуждения. Начиная повесть с известия о смерти Ивана Ильича, о которой узнают из утренней газеты его коллеги, члены суда и прокурор, сошедшиеся в кабинете во время перерыва, Толстой несколькими штрихами обозначает всю ограниченность, неспособность к сопереживанию и бесчувственность этих персонажей: каждый из них, узнав о смерти «сотоварища», в первую минуту подумал о возможных перемещениях ввиду освободившегося места и личном повышении.

Уже во второй главе проступает отрицательное отношение Толстого ко всякого рода чиновникам. «Ненужный член разных ненужных учреждений», – так называет автор статского советника (отца Ивана Ильича), сделавшего в Петербурге по разным министерствам и департаментам ту карьеру, благодаря которой за выслугу лет чиновник получает «выдуманные фиктивные места и нефиктивные тысячи». Толстой подчеркивает, что жизнь Ильи Ефимовича не является исключением, что в России существует целый класс людей, достигающих «то-

го положения, в котором хотя и ясно оказывается, что исполнять какую-нибудь существенную должность они не годятся, они все-таки по своей долгой и прошедшей службе не могут быть выгнаны... и потому получают... нефиктивные тысячи, от шести до десяти, с которыми и доживают до глубокой старости». Толстой еще раз намекнет на паразитический характер такого рода деятельности в описании старшего сына, который «делал такую же карьеру, как и отец» и «уж близко подходил к тому служебному возрасту, при котором получается эта инерция жалованья» [Толстой, т. 26: 69].

Иван Ильич, будучи «умным, живым, приятным и приличным человеком», тем не менее, выбирает ту же стезю: после окончания курса Правоведения, он начинает свою карьеру с должности *чиновника особых поручений губернатора*.

Образ Ивана Ильича не противоречив, но и не односторонен, это не «плоский» характер с одной доминирующей чертой, не явно отрицательный персонаж, а образ человека похожего на других людей, «как все». Толстой неоднократно подчеркивает это сходство, похожесть жизни Ивана Ильича на жизни других людей («Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и *обыкновенная*»). Усредненность характера (Толстой, описывая трех братьев, прямо называет Ивана Ильича *серединой* между ними), обыкновенность и узнаваемость жизненных ситуаций делают историю его смерти тем более поражающей.

По мнению Туниманова, Толстой, стремившийся в повести к «универсальному звучанию», именно с этой целью неоднократно «подчеркивает обыкновенность и заурядность» не только жизненной истории Ивана Ильича. Даже покойник, согласно описанию автора, ничем не отличался от других умерших: «Мертвец лежал, *как всегда* лежат мертвецы, особенно тяжело, по-мертвецки, утонувши окочевшими членами в подстилке гроба, с навсегда согнувшейся головой на подушке, и выставял, *как всегда* выставляют мертвецы, свой желтый восковой лоб с взлизями на ввалившихся висках и торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу» [Зверев, Туниманов 2007: 57].

По общественным меркам Иван Ильич был не только «человеком способным, весело-добродушным и общительным», но и ответственным сотрудником. Будучи молодым человеком, он обладал необходимыми профессиональными качествами для того, чтобы заслужить уважение выше стоящих особ («в служебных делах он был... сдержан, официален и даже строг», «с точностью и неподкупной честностью исполнял возложенные на него поручения»).

Обобщенный образ *выше стоящих особ* играет большую роль не только в жизни Ивана Ильича («долгом же он своим считал все то, что считалось таковым наивысше поставленными людьми», «с самых молодых лет было то, что он, как муха к свету, тянулся к наивысше поставленным в свете людям»). С одобрения выше стоящих лиц в высшем обществе устанавливались границы морали. Все то, что могло быть названо дурным, но делалось «с чистыми руками, в чистых рубашках, с французскими словами», было одобрено и, следовательно, не вполне безнравственно: связь с одной из дам, связь с модисткой, попойки с приезжими флигель-адъютантами, поездки в дальнюю улицу, подслуживание начальнику. Сервировка поступков оказывается важнее их сути. При соблюдении необходимой *формы* дурной поступок мог и не попасть в реестр безнравственного поведения. Однако весь этот регламентированный обман рассыпается в прах, оказывается *не тем* перед судом наивысшей инстанции, пред смертью.

Эта же власть формы обнаруживается в новой для того времени сфере деятельности судебных учреждений. «Соблюдение *формальности*, – пишет Туниманов, – вот неизменный принцип государственной и особенно судебной деятельности, обеспечивающий торжество произвола и зла» [Зверев, Туниманов 2007: 425].

В сущности, в роли судебного следователя Иван Ильич только мастерски освоил «прием отстранения от себя всех обстоятельств, не касающихся службы, и облечения всякого сложного дела в такую *форму*, при которой бы дело только внешним образом отражалось на бумаге и при котором исключалось совершенно его личное воззрение, и главное, соблюдалась бы вся требуемая *формальность*» [Толстой т. 26: 72].

В трактате Толстой подробнее, чем в повести, описывает бездушный и бесчеловечный механизм правосудия: «Кто будет спорить о том, что не то что мучить или убивать человека, но мучить собаку, убить курицу и теленка противно и мучительно природе человека... А между тем все устройство нашей жизни таково, что всякое личное благо человека приобретается страданиями других людей... Все устройство нашей жизни, весь сложный механизм наших учреждений, имеющих целью насилие, свидетельствует о том, до какой степени насилие противно природе человека. Ни один судья не решится задушить веревкой того, кого он приговорил к смерти по своему правосудию. Ни один начальник не решится взять мужика из плачущей семьи и запереть его в острог... Все это делается только благодаря той сложнейшей машине государственной и общественной, задача которой состоит в том, чтобы разбивать ответственность совершаемых злодейств так, чтобы ни-

кто не почувствовал противоестественности этих поступков. Одни пишут законы, другие прилагают их, третьи муштруют людей...» [Толстой т. 23: 332].

Так Иван Ильич, полностью устранив личное, душевное отношение к разбираемым на суде делам и не чувствуя противоестественности своей новой работы, считал ее вполне интересной и привлекательной. Привлекательность же ее состояла, главным образом, в сознании власти, в том, что он чувствовал: отныне «все, все без исключения, самые важные, самодовольные люди – все у него в руках» [Толстой т. 26: 71]. Повышениям сопутствовала еще большая сила власти («возможность погубить всякого человека»). «Обыденность, обыкновенность чистой и ненужной жизни и является, по Толстому, самым ужасным во всем этом заведенном, одобренном течении пустой, насквозь лживой жизни» [Зверев, Туниманов 2007: 425]. Неизлечимая болезнь и сознание приближающейся смерти разрушат так прочно установившуюся фальшь жизни.

Н. Лесков, высоко ценивший талант Толстого как художника-ясновидца, полагал, что «вся обстановка смерти Ивана Ильича представляет собой, конечно, не картину смерти вообще, а она есть только изображение смерти карьерного человека из чиновничьего круга – человека, проведшего жизнь в лицемерии и в заботах, наиболее чуждых памятованию о смерти». Однако Толстой предельно конкретен и правдив не только в изображении бытовых подробностей, но и в описании процесса умирания. Восстанавливая хронологию, фиксируя мельчайшие приметы ухудшающегося здоровья героя, Толстой исследует непознаваемое, препарируя саму смерть.

По мнению Оге А. Ханзен-Лёве, процесс умирания в произведении «медицински и психосоматически» конкретизирован: «В качестве пускового механизма истории здесь также выступает совершенно ничтожная и почти комическая бытовая подробность: смертельная болезнь героя начинается с повреждения бедра, полученного при падении со стремянки... Кажущаяся второстепенной причина – и, соответственно, спусковой механизм истории – ретроспективно предстает непосредственным основанием каузальности, которая позволяет проследивать события жизни от конца к началу... Толстой дробит Большую Смерть на малые мгновения умирания, последовательность которых должна быть прочитана в противоположном порядке *ad absurdum* и вместе с тем прослежена вплоть до своего истока, ведь только так может быть раскрыта ее тайная механика» [Ханзен-Лёве 211: 8].

Особое внимание писателя к материи (к «плоти»), к физическому проявлению человека в мире неоднократно отмечалось исследовате-

лями. «Основная “вещь” Толстого, – пишет Н.А. Петрова, – человек, как существо, прежде всего, “телесное” и потому принадлежащее к категории предметов (“та же комната, те же картины, гардины, обои, склянки и то же свое болящее, страдающее тело”), ненужных, вносящих “нечистоту” и “беспорядок”» [Петрова 2007: 10].

Смерть не есть нечто максимально абстрактное, неподдающееся осмыслению и безумно пугающее Ивана Ильича. Она растворена во всей с безупречным хладнокровием зафиксированной симптоматике прогрессирующей болезни. И проявления ее в физическом мире вполне конкретны и осязаемы. Так уже в первой главе появляется «неприятный запах» и труп, «утонувший окоченевшими членами в подстилке гроба». Иван Ильич буквально ощущает смерть физически, как «что-то ужасное и страшное, неслыханное, что завелось в нем и не переставая сосет его и неудержимо влечет куда-то» [Толстой т. 26: 88].

Для Толстого смерть, в первую очередь, это физиологический процесс. Приближение ее связано с истощением и усыханием тела («он знал, что ему будет еще страшнее, если он взглянет на свое тело, и не смотрел на себя»; он «с ужасом смотрел на свои обнаженные, с резко обозначенными мускулами, бессильные ляжки»), с физической немощью («он спал меньше и меньше», еда казалась «безвкуснее и безвкуснее»; не мог передвигаться без помощи), с усиливавшейся болью («ни на мгновение не утихающая, мучительная боль»). По мере осознания собственной обреченности и безвыходности своего положения, в душе Ивана Ильича усиливалось чувство тоски и ненависти к окружающим.

«Персонажи Толстого, – пишет Оге А. Ханзен-Лёве, – словно помещены в особую сферу, где истории их жизни могут быть рассказаны как истории предвосхищения смерти. Если же власть смерти столь могущественна, всеобъемлюща и неумолима, то, чтобы стать выносимой, она должна распределиться по всей жизни в целом, – по крайней мере, в романе...» [Оге А. Ханзен-Лёве 2011: 5].

Однако смерть заявляет о себе не только через боль, ослабевающее с каждым днем тело, немощь и нечистоту. Она является предчувствием. В сознании Ивана Ильича смерть персонифицируется, и потому он постоянно ощущает ее мистическое присутствие. Смерть становится наваждением, которое приводит в отчаяние. «Иван Ильич... отгонял мысли о ней, но она продолжала свое, и она приходила и становилась прямо перед ним и смотрела на него, и он столбенел, огонь тух в глазах» [Толстой т. 26: 94]; «И что было хуже всего – это то, что она отвлекала его к себе не затем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ни-

чего не делая, невыразимо мучился» [Там же]; еще упоминания: «она проникала через все, и ничто не могло заслонить ее», «вдруг она мелькнула через ширмы, он увидал ее», «она явственно глядит на него из-за цветов» [Толстой т. 26: 94–95].

Повествование представляет собой постепенно разворачивающуюся, от главы к главе, историю болезни, финалом которой является двухчасовая агония и смерть. Происходит, условно говоря, материализация метафоры (летающего вниз камня с увеличивающейся скоростью), содержащейся в тексте: «Жизнь, ряд увеличивающихся страданий, летит быстрее и быстрее к концу, страшнейшему страданию» [Толстой т. 26: 109]. Тем не менее, болезнь и мучения героя представляют собой лишь внешний план, скрывающий под собой процесс духовного перерождения (умоперемены) героя.

Мучимый физической болью и одиночеством, «полнее которого не могло быть нигде: ни на дне моря, ни в земле», Иван Ильич находился в кругу неразрешимых вопросов: «За что весь этот ужас?», «Не может быть, чтоб так бессмысленна, гадка была жизнь?», «Может быть, я жил не так, как должно?» [Толстой т. 26: 107].

Мысли героя сопровождаются небольшим авторским комментарием: «и тотчас же он [Иван Ильич] отгонял от себя это *единственное разрешение* всей загадки жизни и смерти, как что-то совершенно невозможное» [Там же].

Если в начале повести констатируется факт смерти и для пришедших проститься с Иваном Ильичом ее несомненным и вполне «осязаемым» проявлением будет его лежащее в гробу бездыханное тело, то уже ближе к концу произведения становится очевидным, что смерть не только не является для автора «концом» существования, а скорее «переходом», но, что особенно важно, не присутствие смерти, а возможность ее осознания при жизни приводит к духовному перерождению.

«Сюжет повести Толстого, – отмечает Н.А. Петрова, – состоит в осознании человеком «ложности» своего существования, экзистенциальном прозрении на пороге смерти, сопровождающемся просыпающейся способностью героя «чувствовать» (его фамилия – Головин, и к пониманию собственной смертности он идет через силлогизм из логики Кизеветера)» [Петрова 2007: 10]. Развивающаяся болезнь не только разрушила всякую приятность и важность тех событий, которые ранее казались таковыми («радости службы-карьеры», «карточная игра», «театры»), но и поставила под сомнение смысл всей прожитой жизни.

По мнению С.А. Меситовой, «мучения, страдания и болезни, воспринимающиеся людьми как зло, трактуются Л.Н. Толстым, прежде

всего, как подготовка к смерти и возможности принятия смерти как радости и полноты бытия-к-смерти. В 1903 году он записал: «Страдания, – всегда неизбежные, как смерть, – разрушают границы, стесняющие наш дух, и возвращают нас, – уничтожая оболочку материальности, – к свойственному человеку пониманию своей жизни как существа духовного, а не материального.... Думают, что болезнь – пропащее время. А болезнь самое важное время...» Страдания дают возможность проявиться духовному началу в человеке, обрести любовь к Богу и ближнему. В этом смысле, смерть воспринимается Л.Н. Толстым как освобождение от сна ложной жизни, от плена телесной зависимости, как, наконец, возможности истинно духовной жизни, которая в понимании философа есть добро, любовь и соединение в Боге всех живых существ» [Меситова 2006: 59].

Эту же мысль подтверждают слова Туниманова: «Только окончательно признав, что вся его жизнь была не то, кроме нескольких отдаленных светлых точек в детстве, отказавшись от всяких попыток найти для этой эгоистической и лживой жизни оправдание, Иван Ильич “пролезает сквозь черную дыру” к свету. Ненависть и злоба отступают, он испытывает чувство жалости к сыну-гимназисту, целующему его руку, и к жене, с отчаянным выражением смотрящей на него. Не просто нравственная перемена, а преображение и преодоление страха смерти» [Зверев, Туниманов 2007: 428].

Мучения Ивана Ильича в последние часы напоминают муки рождающегося ребенка: «Он барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая непреодолимая сила... Он чувствовал, что мученье его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее» [Толстой т. 26: 106].

Смерть приносит долгожданное облегчение: «Иван Ильич провалился, увидел свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить». Она освобождает героя не только от физической боли, но и от лжи и заблуждений считавшейся «приличной» и вполне благопристойной жизни.

«Как хорошо и как просто, – подумал он».

Вместо смерти был свет.

Последние мысли героя («Какая радость!», «Кончена смерть. Ее больше нет!») являются знаком совершившийся духовной перемены.

ЛИТЕРАТУРА

Абрамович Н.Я. Религия Л.Н. Толстого. – М., 1914.

Апостолов Н.Н. Живой Толстой. – М., 2001

- Асмус В.Ф.* Мировоззрение Л.Н. Толстого // Литературное наследство. Т. 69. Кн. 1. – М., 1961.
- Басинский П.В.* Бегство из рая. – М., 2011.
- Булгаков В.Ф.* Л.Н. Толстой в последний год его жизни. – М., 1957.
- Зверев А.М., Туниманов В.А.* Лев Толстой. – М., 2007
- Меситова С.А.* Этическая танатология Л.Н. Толстого. – Тула, 2003
- Петрова Н.А.* Предмет в пространстве между смертью и жизнью // Przegląd Rysucytuszkę. – 2007. – С. 5–19.
- Толстой Л.Н.* Полное собрание сочинений Л.Н. Толстого. В 90 т. Т. 26. – М., 1928–1958.
- Шкловский В.Б.* Лев Толстой. – М., 1967.
- Ханзен-Лёве Оге А.* В конце туннеля... смерти Льва Толстого // НЛЮ – 2011. – № 109.

© Гладышев А.К., 2013